

НАТАЛЬЯ ЛЕСЦОВА



## СЕДЬМАЯ РАНА

БЫЛЬ

*Посвящается моему деду,  
фронтовику и труженику*

1

В конторе друг против друга, каждый за своим столом, сидели счетоводы: Николай и Крутиков; первому — немного за двадцать, второму нет ещё и тридцати пяти, оба инвалиды. Культяшка Крутикова жалко свисала со стула в сторону, потому что сидел он всегда вполоборота, облокотившись на стол — так ему было удобнее. Засаленные счёты лежали в центре, и он, не глядя, щёлкал костяшками, попутно записывая, что получилось.

Николай поднял голову только ближе к обеду. Работа пока давалась нелегко, он многое позабыл за годы войны и боялся допустить ошибку — всё по несколько раз перепроверял. Глаза уставали, левая рука деревенела, никак не желая пока привыкать к работе. Но надо было держаться за это место, ведь ему был теперь по силам только лёгкий труд.

Сорок четвёртый год. Война, хоть и откатилась на запад, а всё ещё в разгаре.

---

*ЛЕСЦОВА Наталья Анатольевна родилась в 1971 году в Оренбурге. Окончила Оренбургскую государственную медицинскую академию (ОрГМА), кандидат медицинских наук, доцент. В настоящее время живёт в Москве. Обучается на Высших литературных курсах (Творческая мастерская Олега Павлова). Участница II Некрасовского семинара молодых писателей (секция А. Казинцева и С. Макаровой). Публиковалась в журнале "Литературная учеба", газете "Литературная Россия", альманахе "Гостиный двор" (Оренбург), на болгарском языке в журнале "Литературен свят" (Болгария).*

В совхозе такой работы не было, тут, в конторе только, где они с Крутиковым и трудились.

— Хорош, пошли обедать. — Крутиков резко перевернул счёты, которые звонко щёлкнули костяшками, и сдвинул их на край стола.

— Угу, щас, щас, — ответил Николай, что-то сосредоточенно проверяя.

Крутиков, встав на ногу, сунул подмышки костыли, потоптался на единственной ноге и направился к двери. Закрыв ведомость и убрав её в сейф, Николай бросился следом за начальником, уже стучавшим костылями по коридору.

— Ты, чего, Коль, смурной в последнее время, — осторожно спросил тот, когда они вышли на улицу.

— Да сёстры, мать их! — нехотя ответил Николай. — Злыдни. Мешаем мы им. Мать говорит, чтобы строились мы с Надей. А я не знаю, чего, как? Меня хушь самого надстраивай: всё тело болит; рука по всем ночам прикурить даёт; спину пополам ломает, ноют раны, в непогоду — прям смерть. А башка после контузии — ой, лучше и не говорить, — он махнул рукой и отвернулся.

Крутиков задумчиво слушал его, насупившись и тяжело дыша, ловко переставляя костыли и топая за ними по грязи ногой, обутой в старый армейский сапог.

Нелегко жить в селе и здоровому, а больному да израненному и того тяжелей. Сам-то он, Крутиков, тоже в мазанке жил с женой и сыном, даже баньки не было, к свояку мыться ходили, но зрела у него в голове надежда как-нибудь, когда война проклятущая закончится, да как он разбогатеет, обшить хату доскам какими-никакими, да крышу новую покрыть, ворота крепкие поставить. Понимал он Николая, но и сам был не помощник.

Одно только у него теплилось внутри намерение, о котором он вспомнил теперь как нельзя более кстати. Свояк его, когда баньку строить затеялся, то ничего не выходило поначалу, печь не получалась. Мужиков и так раз-два и обчёлся: кто воюет, а кто уж и отвоёвался, а печников — ни одного. Подсказал ему кто-то в Краснохолм съездить — там пленные немцы кирпичный завод строили и бараки. Он нарубил кур, прихватил ещё кое-чего из домашних припасов и — к прорабу. Выпросил немца на несколько деньков, чтобы тот ему печку сложил. Немец постарался, все в деревне были не против к нему в баню наведаться: жар такой, что держись!

— Коль, — подумал вслух Крутиков, — спросил бы ты у свояка моего, как он немца раздобыл тогда. Может, и тебе чего отвезти прорабу, да и сговоритесь. Как?

— Ты чего? — уставился на него Николай. — Да как же я сам во двор немцев приведу?!

Он побагровел, правая рука затряслась, глаза налились кровью.

— Тише, тише, Коль. — Крутиков положил ему на плечо свою ладонь и легонько постучал.

Потом он стукнул костылем о костыль, вроде как бы стряхивая грязь, а сам краем глаза наблюдая за разбушевавшимся Николаем и укоряя себя в душе за крамольную мысль.

— Я ж... Как? Да чтобы... — Николай рвал слова, не зная, как выразить своё возмущение. — Они ж в меня...

— Ладно, ладно, — снова постучал его по плечу Крутиков. — Всё. Всё... Так-то оно так... Только, коли ты затеяешься сам строиться, тебя у того дома только и останется потом, что схоронить. Не выдюжишь ты с твоим здоровьем.

— Отец поможет, — сверкнув глазами, твёрдо ответил Николай.

— Ну, и чего вы с отцом вдвоём сробите, а? Это ж не курятник, а дом. Моя мазанка вся валится, две подпорки, крыша течёт. Ты тоже так хочешь? У вас малец родится, тепло надо, порядок, и место какое-никакое чтобы было: корыто поставить, чтоб скупать его, постирушки там разные к тому же... А как дитё ползать начнёт — где?..

— Под лавкой возле печки. Все мы так росли, и своих так же растить будем, — сердито отозвался Николай, придерживая больную руку, чтобы не сильно тряслась.

Разошлись обедать нескоро. Долго умирал Крутиков Николая, стоя напротив птичника. На их крики вышли две пожилые птичницы и несколько девушек. Посмотрев на доказывающих что-то друг другу инвалидов, так и не поняв, в чём причина раздора, постояв, они зашли обратно, пожимая плечами и тихо переговариваясь.

Всю дорогу до дома Николай шёл, размахивая здоровой рукой, делая ею какие-то непонятные резкие движения, словно держал саблю и рубил ею то ли воздух, то ли что-то невидимое, и ругаясь с кем-то воображаемым. Старухи, возвращавшиеся с реки, тащившие поперёк животов тазы с постирушками, даже шарахнулись от него на край дороги, в самую грязь, испугавшись и ничего не разобрав в отрывистых возмущённых его выкриках. Выбравшись обратно на дорогу, обсудили, перекрестились, списав всё на контузию.

Дома мать, зная нрав сына, сначала его накормила. Попив чаю и немного поостыв, Николай рассказал ей о разговоре с Крутиковым. Отец, отдышавший у печи на лавке, встал и подошёл к столу.

— Я чего, Коль, скажу, — спокойно, своим мягким голосом, стараясь не глядеть на сына, начал он, — ты того, про завтра подумай. Зимы холодные, стены надо потолще справить, крышу опять же, чтоб... Ну, как у нас, помнишь, на хуторе была, с коньком, со стропилами крепче, да покрыть хорошо. Мужиков-то осталось, что зубов после драки. Я подмогну, насколько силов хватит, только по хозяйству сейчас работы, Коль, невпроворот, сам знаешь. Лето, ничего не попишешь. Скоро, и оглянуться не успеешь, уже сенокос. И так ужом на сковородке верчусь. Летом сроду так. Всё успеть надо. Окромья стройки делов хватает, не заскучаешь. А они, немцы, я слышал, хорошо строят, да и мужики крепкие среди них есть. С прорабом сговорились бы. Сало есть, можно барашка резать. Для такого дела можно и барашка. Сметаны мать насобирает, яичек... Найдём, чего дать.

Николай порывисто задышал, потом вскочил с места и выбежал вон. Мать с отцом посмотрели друг на друга долгими тяжёлыми взглядами. Вытерев краем фартука слёзы, мать вздохнула:

— Разве ж он виноват?! Ироды! Они ж из него решето сделали. Молодого парня здоровья напрочь лишили. Пою травами, и раны мажу, и припарки уж какие ему на руку, да на грудь и на спину ни прикладывала — всё, как в прорву. Видать, столько здоровья в нём осталось, что и зацепиться им, моим стараниям, не за что. Как ему на них глядеть теперича?

— Как, как, — снова ложась на лавку, отозвался отец, — пушай не глядит. Поеду, привезу, и будут работать. Глядишь — за лето выстроят. Саман сами сделаем, а на стропила да на полы лесу после сенокоса купим. В долг возьмём, в крайнем случае, осенью картошкой рассчитаемся.

## 2

Так уж случилось, что для Николая война закончилась в октябре сорок третьего. Вернулся он чуть живой, со второй группой инвалидности. В госпитале после двух последних ранений и контузии дали сначала первую группу, да он сам упросил майора медицинской службы, чтобы на вторую переписали. Только написать-то можно, а вот выжить и пожить ещё надо суметь. Болело у Николая всё, что на костях держалось, и даже кости. Редкая ночь выпадала, когда не мучился он от ран и контузии. Поначалу, корчась от боли, сжимая гудящую голову руками, жалел только об одном: что на фронте не оставили, там, может, душа хоть так не ныла бы.

Когда сводки передали, как наши фашистов теснят, такая радость была на сердце, вроде даже легче становилось, и казалось, что раны успокаиваются, а на душе, наоборот, тошно делалось, больно до ломоты и обидно, что не выстоял до конца, комиссовался. А был бы там, глядишь, как на собаке, может и зажило бы всё, а душа так прежде ран успокоилась бы.

И как ей, многострадной, объяснить было теперь, что он не только не боец, а может, и не жилец уже на этом свете, и кто знает, насколько его, полуживого, хватит?

Николай гнал от себя эти мысли, потому как, коли правая рука висит плетью и не слушается, а только рвётся в ней боль, и больше ничего, то на что ты годеи? И когда ветром качает от слабости и голова контуженная разрывается на части — какой из тебя солдат? И спина, и лёгкие простреленные, и ноги, то и дело сводимые судорогами, не дают глаз сомкнуть ночью... Одно слово: инвалид.

Мать с отцом, и те, поплакавши на радостях, когда вернулся, вскоре уж от горя стали над ним слёзы лить, поняв, что жизнь в нём еле теплится. Глядя на Николая, тяжело и нестерпимо мучительно было думать, что, дождавшись сына с этой страшной войны, они могут пережить его. Выхаживали с молитвой да с неиссякаемой крестьянской негибемостью два месяца, неотступно находясь рядом. То тоже была война, их война... За его жизнь, за будущее, за продолжение рода, и бились они до тех пор, пока не начал он худо-бедно в себя приходить, у небес, почитай, заново получая благословение на жизнь. С наступлением сорок четвёртого ясно стало родителям, что Николай на поправку пошёл, отпустило его понемногу. Рано, конечно, было пока радоваться, ждал их ещё не один месяц битвы за его здоровье, но как-то спокойнее за него стало. Молодость да твердокаменная упёртость родных сделали своё дело, хоть и болел, и мучился, а всё ж таки держался фронтовик. Да и было за что держаться. Семья поддерживала, мать, не опуская рук, выхаживала, отец всё время рядом был, не давал падать духом. Да и в деревне родной за время войны народу прибавилось: со всей страны ехали в тыл, много было среди них и красивых девушек, и местные девчата подросли, тоже ничем не хуже приезжих. И как ни крути, а он сразу стал тут первым парнем, и интерес к себе почувал такой, что и хвори, чуть не превратившие его в покойника, отошли на второй план. И решил он, что рано ему в двадцать три года помирать, женился назло проклятой войне и её отметинам на своём теле и привёл в родительский дом жену Надю.

Только не заладилось у молодых с родней. И становилась такая жизнь с каждым днём всё невыносимее. Не успели они ещё толком пожить все вместе, а уж понятно было, что немогут так, как хорьку с курицей в одном сарае.

Как-то в первую весну их семейной жизни, накануне майских праздников сорок четвёртого года сидел Николай после очередной перебранки с сёстрами в палисаднике у дома. Опустив от отчаяния голову, он уставился в лужу возле лавки. В ней отражалось небо и небольшое облако, висящее над ним. Его отражение медленно проплывало по глади мутноватой воды, и казалось, что облако смотрится в лужу, как в зеркало, любясь собой, и не торопясь разглядывает каждую завитушку и каждую свою выпуклость.

Спокойствие неба, какое бывает после дождя и особенно после грозы, его чистота и светлая воздушная прозрачность рожают в душе тихую приятную грусть и покой. Кажется, что воздух остановился, распластавшись по земле и впитывая в себя влагу, ждёт, когда про него вспомнят притихшие просторы, когда позовут к себе, и он встрепенётся, двинется и полетит вольным ветром, унося вместе с влагой людские печали.

— Коль, ты тише, — подседа рядом и гладила его по трясущейся больной руке жена. — Пускай чего хотят, то и делают. Чего там у нас в сундуке-то? А? Тряпье одно, и намокнет, не велико горе. Посушим да снова положим на место.

— Ну, как с ими? А? — сверкал в пальми серыми глазами Николай. — Ведь люди в совхозе уважают. Жалеют меня. Чужие! А эти? И что за змеи, а, Надь? Дня не проживут, чтоб нас не задеть, чтоб не цапнуть.

— Не надо, Коль, — упрасивала Надя. — Ну, и пускай. Завидуют, наверно.

— Да, чему, Надь?! Сундуку нашему чуть не пустому или, вон, калошам твоим худым? Да ещё руке моей, в трёх местах простреленной?! У меня ж, окромя наград да шинели, и нету больше ни шиша. Сапоги, и те, считай, с самого госпиталя топчу, уж и надевать страшно, того гляди — подмётки отлетят.

— Да они, как ты не поймёшь, горе ты моё, завидовали бы, даже если б мы с тобой в одну тесёмку на двоих одеты были. Завидовали бы, что у нас все хорошо, что и промеж нас тоже, и ещё что тебя счетоводом взяли, и что я — в школе, а не как они, в телятнике да в свинарнике. Ну, такие они, Коль. Ну, что теперь? Молчи.

— Коль, — со двора позвала мать.

— Да тут я, — отозвался он. — Чего?

— Я на ваш сундук таз и ведро поставила, — шумно дыша после ругани, сказала мать.

— Спасибо, мама, — ответила Надя. — Я потом посмотрю, разберу, посушу, что промокло.

— Ничего, Надюш, я их, этих курв, приструню, — погрозил Николай кулаком в сторону дома, где после перебранки скрылись сёстры Глафира и Алевтина.

Яблоком раздора этого дня стал сундук молодых. Из-за дождя потекло с потолка, да на сундук сестёр, они его — долой с мокрого места, а туда — сундук Нади с Николаем задвинули. Когда Николай после работы, зайдя в горницу, увидел их подлость, взорвался так, будто внутри кто на мину наступил. Надя ещё не вернулась из школы.

Он сорвал с себя ремень и набросился на Глафиру.

— Дурак, дурак контуженный, — завопила она и выбежала из комнаты.

Мать, схватив его за рукав, пыталась остановить, но он вырвался и кинулся вдогонку.

Крики были слышны на всю округу. Надя входила во двор, когда ей навстречу выскочила растрёпанная золовка.

— Ага, — завопила Глафира, — пристроилась тут, на наших харчах. Езжай в свой Краснохолм, чтобы духу твоего здесь не было.

Подоспевший Николай сгрёб сестру здоровой рукой и вытолкал со двора на улицу. Там уже посматривали через заборы соседи. Закрыв калитку, он в сердцах швырнул ремень в куст сирени и выматерился. Надя обняла его и повела подалее от всех, в палисадник, где отец соорудил лавочку.

— Чего там, Коль? — тихо спросила она, усаживаясь рядом.

— Да чего?! — подняв вверх здоровую руку и, тряхнув головой, тяжело дыша раздутыми ноздрями, ответил он, — опять они мудруют. После дождя в комнате с потолка потекло малость, и прям на ихний сундук, так они, заразы, его подвинули на наше место, а свой — в наш угол поставили, где сухо.

Со двора послышалось, как мать ругает Алевтину. С улицы вопила разъярённая Глафира, размахивая передником, зажатым в руке. Она кричала на брата, на Надю и, топая ногой, даже выкрикивала что-то в адрес матери, но та не обращала внимания.

Но вдруг все разом замолчали. Было слышно только, как тяжело лягнула щеколда калитки. Надя с Николаем переглянулись, поспешили во двор.

В проёме калитки показался пьяненький муж Глафиры Степан. Все смотрели на него с досадой и недоумением, в мгновение ока позабыв о только что случившемся разладе. Воспользовавшись моментом, когда замешательство почти парализовало всех и сразу, Глафира схватила мужа за руку, двинула боком калитку, и, сверкнув глазами на родню, протолкнула его во двор. Алевтина подхватила его с другой стороны. Калитка описала небольшой полукруг и упёрлась в землю. Алевтина толкнула её ногой, не удержала равновесия и покачнулась, увлекая за собой Степана. Глафира с трудом удержала их обоих. Они повели Степана, блаженно улыбающегося и пытающегося что-то сказать заплетающимся языком, в избу.

Мать обтёрла лоб краешком фартука и вздохнула, глядя на сына со снохой:

— Строиться вам надо. Хушь как, хушь пристройку какую, а никуды не деться. Пока лето только началось, затевались бы вы с хатой. Отец помог бы, и я чего смогу.

Надя молчала.

— Из чего строить, мама? — Николай насушился и нахмурил брови. — Совхоз, и тот не строит ничего. Ни лесу, ни цементу, ни гвоздей... Поработаю чуток, глядишь, разживёмся, да война, может, кончится. Когда-то же ей придёт конец?! Уж три года всем народом маемся. Ладно, пока потерпим годок-другой, может, всё уладится? Ну, не враги же мы, не чужие. Попрыгнут они к нам.

— Эх, Колька, глупай ты. По людям никогда не скажешь, чаво на уме-то у них. И чаво гадать “глянитесь — не глянитесь”, когда, уж пузо вот-вот на нос полезет? Дитё-то куды класть будете? Поверх Глашкиных двоих али Алькиного подвинете?

— Может, нам, и вправду, к моим податься, — будто бы спросила Надя, глядя в сторону.

— Нет, — замотал головой Николай, — я тут вырос. Тут, под кручей и пупок зарыт, и вся моя жизнь туточки. Не поеду.

— Так как же нам здесь? Ведь стройка — дело неподъёмное, — вздохнула Надя. — Деньжат мало совсем, здоровье у тебя слабое, я тоже не помощница этим летом. Как строиться-то? Ребёночку надо сначала справиться приданое хоть какое-нибудь, ведь ничегошеньки нету: ни пелёнки, ни лохмота какого лишнего на рубашонку, ни одеялка. И тазик бы купить новый, оцинкованный, для купания да для стирки, ведро для кипячения и кастрюльку под кашку.

— Отца бы послушали, — резко отвернувшись от них, с укоризной отозвалась мать. — Поди, скажет чего путного. И в силе он ещё, помочь может. И я саман делать могу, и мазать, и пилить бы помогала. А дитё и без этого вырастет. Вон, я четверых вырастила. Корыто есть, одеяло на гусином да курином пуху состегаем, ведёрко тоже найдётся, выделю вам одно, стало быть, а кашу... Кашу вон в чугушке сварим. Делов-то.

Надя потупила взор, только дрогнули губы едва заметно. Николай ещё крепче сжал её руку.

### 3

В родительском доме, в двух комнатах, проживало их десять человек: в передней избе — старшая, Глафира, с мужем и детьми, и Николай с Надей, в задней избе за печкой стояла кровать матери с отцом и их сундук, на лавке возле печки спала Алевтина с ребёнком, младшая из сестёр. Митьке её шёл третий годок.

И тесно было, и шумно, и ребятишки всё время под ногами. Мать, когда самовар несла, так громче обычного кричала, чтоб не обварить никого, споткнувшись. Все толклись больше в задней избе у стола или у печки, там было теплее и самовар всегда наготове, мать следила. В передней было хоть и просторней, и светлее, чем в кухне, но туда шли ближе к ночи, спать. Глафира со Степаном спали на высокой кровати, укладывавая между собой младшенькую, старший, Пашка, спал на сундуке. Воздух всегда к вечеру в комнатах был спёртый, тяжёлый. После протопки мать уже дверей не открывала — берегла тепло на ночь.

Колька с Надей мешали старшей сестре в комнате. Слишком много места, как ей казалось, занимали их вещи: кровать из оструганных досок, сундук — единственное Надино приданое, — вешалка для одежды да занавеска цветастая, которая отделила угол молодых в горнице.

Сначала она заняла, как ей казалось, лучшую половину комнаты, ближе к печи, но весной крыша прохудилась, потекла и, как назло, на сундук, который они делили с Алевтиной.

Отец затевался с ремонтом на июль, не раньше. Пока мешали неотложные дела: сначала пахота, потом сев, картошку посадить следовало, после огород... Да и денег на ремонт крыши ближе к лету откуда взять? Всё за зиму долую, трудную поутекло. Ничего не осталось у матери в заначке, последние копейки истратила на поросёнка, даже шаль пуховую продала — не хватило.

В доме были ещё сени и веранда, но они холодные, для жизни пригодны только летом. Пока же все теснились двух в комнатках, кучковались

у самовара за столом, каждый день из-за чего-то ругались, что-то не могли поделить, мешали друг другу.

Глафира всё чаще стала задумываться, как бы брата с женой куда сбегать. А как узнала, что Надя беременная, совсем ошалела. Рассудила так: только свои подросли, ночами спать стала, а тут у этих дитё вот-вот народится, орать станет — снова не заснёшь. И самой маяться, и детей перебудит, своих потом укладывая да успокаивая, а утром рано на ферму, ишачить целый день, да не выспавшись — худо. Вот и бесилась она, как необъезженная кобыла в упряжи, будоражила всех.

Не было Николаю с Надей места в родительском доме. Даже угла не было, а уж ребёнку и подавно. Мать и по-хорошему с дочерью говорить пыталась, и стыдила, и бранилась с Глафирой, требуя переселить в свою комнату Алевтину. Но ни та, ни другая не спешили съезжаться.

Алевтинин Митька тоже по ночам не больно-то спокойно спал, и качать приходилось, и на руках носить, и кормить, бывало. Хрен редьки не слаще. Для Глафиры было что так, что этак — разница небольшая, а для Алевтины и подавно. Она и не всегда просыпалась к ребёнку, чаще мать вставала, нянькалась с ним, укладывала. И удобнее ей было с маленьким в задней избе, и теплее, и мать, всё время копошившаяся подле печи, за дитём присматривала. Дед вечером клал Митьку под бок, и тот засыпал, снова Алевтинке благодать — руки-то развязаны, можно хоть к подружкам сбегать, посудачить, а то весь день на работе, словом перекинуться некогда.

Она после семилетки пошла в колхоз разнорабочей. Куда пошлют, там и вкалывала: летом — на сенокосе, потом — на току, осенью — на картошке, зимой дояркам помогала, на свиноферме, весной — на посевной. Потом замуж вышла, но и года не прожили молодые — война началась. И успел мужик только Митьку ей оставить, которого и не видел даже. Ушёл на фронт, когда дитё в утробе и не шелохнулось ещё ни разу, через полгода после того народилось, аккуратно под Новый год, в самую стужу.

И теперь Алевтина не знала, жив ли муж или сложил уже где голову? Письма приходили редко, последнее из полевого госпиталя было. Товарищ писал, что он ранен, сам писать не может, но жив, о чём и просит сообщить. Ещё писал, что повезут их дальше лечиться, но куда — неизвестно. И с тех пор ничего больше она от него не получала. Довезли ли, нет ли — не знала.

Плакала она по ночам от тоски, от неизвестности, от беспомощности. Не хотелось вдовой век доживать, одной дитя растить. Страшно было, что война, что родители стареют, слабеют, а коли помрут, так, кроме сестры, больше ей и помочь некому станет, ведь кто его знает, сколько эта война продолжаться будет? Когда мужик вернётся? Да и вернётся ли?

Понимала Алевтинка, что брат больной весь, надежды на него мало. Да и у самого уж семья. До неё ли ему?! Вот и держалась она поближе к Глафире, во всем соглашалась с ней, поддакивала. Та была баба здоровая, крепкая, языкастая, любого отбреет, своё всегда отстоит, и мужик при ней. Опять же сила...

Начёт Митьки тоже беспокоилась: вдруг с ней самой чего недоброго случится? Ну, заболеет или ещё чего, помрёт, упаси боже, а малец один останется. Старики последнее доживают, с мужем чего — неизвестно... Кто о нём позаботится? Вот и получалось, что только на сестру вся и надежда оставалась. Надеялась Алевтина, что не бросит племянника тётка, коли случится чего, воспитает со своими рядом, выкормит, в люди выведет. От этих мыслей она немного успокаивалась, потому была во всём с Глафирой заодно.

#### 4

Надя держалась в доме смиренно, но независимо. Всё больше молчала, перед сёстрами мужа не заискивала. Не то чтобы не хотела унижаться или гордилась слишком, а так считала, что коли уж не мил ты кому, так в том ни твоей вины нет, ни его, просто нескладуха получилась.

Она была родом из казачьего села Краснохолм, а здесь, в тридцати километрах от родного села, в целинном зерносовхозе Подстепинском оказалась

в первый год войны, когда, окончив школу, а потом курсы учителей начальных классов, приехала сюда по направлению работать.

Поселили молодую учительницу в бараке. В совхозе их было три, построили их в тридцатые годы для себя американцы. Они приехали сюда, на Урал, ещё в конце двадцатых за хлебом, жили несколько лет семьями, пшеницу выращивали и в Америку отправляли. Когда уехали, ещё до войны, в бараки заселили кое-кого из местных, кто нуждался в жилье, а с началом войны — беженцев, эвакуированных и всякий приезжий люд.

В комнате они жили втроем: учительница Надя, медсестра Нюся, присланная в совхоз после окончания медтехникума, и учётчица Клава, из эвакуированных. Жили девочки дружно, все, считай, ровесницы. Делить нечего, есть — тоже. Поедут Надя с Нюской раз в три, а то и четыре месяца домой, обе родом были из сёл неподалёку, чего привезут от мам, то и тянут, насколько хватит, и с подругой делятся, ей-то и взять негде: свои далеко, на другом конце страны остались.

Зарплаты у девчат копеечные, в совхозе тоже почти ничего не платили, хоть они после работы и на стрижку овец ходили, и на общественном огороде помогали, и во время уборочной на току. Да и купить еды было негде. У кого чего в хозяйстве водилось, так и для себя не всегда хватало, ведь коли скотину кормить нечем, так чего от неё получишь? Да к тому же у многих квартировали эвакуированные, и все почти что с детьми. Приходилось хозяевам и от себя кусок отрывать, чтобы поделиться с ними, подкормить. Хлеб для фронта отдавали, себе оставляли только-только, чтобы до весны дотянуть как-нибудь и вкуса его не забыть.

Как-то по весне после стрижки овец возвращались девчата в барак и увидели, что казахи барашка режут. Попросили мяса продать, а те ни в какую — самим мало. Уговорили девочонки, упростили продать немного мякоти, прибежали счастливые домой, теста замесили комочек, мясо изрубили мелко, как смогли, и давай пельмени лепить на радостях. А как слепили, так и ахнули, варить-то как? Дрова давно кончились — печь не истопишь.

Нюска придумала. Выпросили у старухи, которая их в баню свою мыться иногда пускала, примус и керосина немного. Кастрюльку с водой установили, зажгли и стали ждать, когда вода закипит. Долго ждали, еле-еле огонь теплится в примусе, нет-нет, а пузырьками по краям запенилась вода, бросили они пельмени, а те легли на дно и прилипли. Мешали, мешали их девочки, уж поизлохматились все пельмешки, а не закипают — и все. Есть охота — страсть, и бульону охота горяченького — ведь холодно в бараке.

Ждать пришлось долго. Промучились они, примус потом ещё и коптить начал, в комнате смрадно стало, уж и есть расхотели, а пельмени все не сварятся никак. Упрямая Клава мешала и мешала их, стараясь ложкой не лохматить, аккуратно, осторожно, но они все уж сплошь в дырках были. Кое-как дождалась, пока они хоть наполовину сварятся, разложили по мискам и проглотили их вмиг, полусырые, вязкие, с расплзающимися ошметками оборванного теста. Потом бульону горячего нахлебались в удовольствие и легли спать. Сморило девчат долгое ожидание, забыли, что старуха наказала им примус вечером обязательно вернуть — только утром отнесли обратно. Досталось им от неё! Ведь примус был эвакуированных, которые у неё в доме жили. Думала бабка, что девчата скоро на нём сварят и вернут прежде, чем хозяева с работы вернуться, да ошиблась. Неприятность вышла ведь она, получается, без спросу чужую вещь дала. Уладилось всё, конечно, но с того случая перестала она пускать их в баню.

А у Нади — косы до пояса, волосы густые, волнистые. Бывало уборщица в школе подойдёт, погладит лежащие на спине тугие косищи и спросит:

— Как же вы, Надежда Леонтьевна, их в бараке моете?

Все знали, что дров на складе с ранней весны нет, обогрелись, кто как мог.

Учительница, смущаясь, улыбалась:

— Да, так вот и мою... Как придётся.

Мыла-то она голову только когда к своим, в Краснохолм, ездила. Мать набирает коровьих “лепешек” — котяхов, засушит, да сёстры из леса чего



притащат — вот и вся топка. Лишь бы вода согрелась. А Наде, чтобы промыть такое богатство, ведра два воды надо; пока с головой управилась — и самой уж мыться нечем. Так она приспособилась: вставала в пустой таз, а другой — с водой, на нижний полок ставила, в него доливала щёлок, который мать настаивала, вспенивала и, наклонившись, мыла волосы, потом этой водой мылась до пояса, аккуратно, чтобы не расплескивалась, а в таз стекала, потом ниже пояса уж оттуда мылась. Оставшейся водой волосы ополаскивала и домывалась. Торопилась мыться, к печке жалась, ведь в бане то не шибко тепло, одевалась тоже прямо тут, не в предбаннике, чтоб не простыть.

В доме её уже сёстры ждали. Насыплют в тяжёлый железный утюг углей, присядет Надя к столу, наклонится, разметаёт волосы, а они сверху простынькой накроют и водят поверх неё утюгом, чтоб быстрее высохли. Потом мама расчешет чистым гребнем, заплетет косы, и снова до следующей бани, как случится приехать домой.

Когда Николай стал захаживать к ним в барак, Надя на свой счёт это не принимала. Куда уж! Нюська вон бойкая да весёлая какая, ему, пожалуй, больше понравится могла, или хоть Клава, тоже хохотушка, красавица и трещотка, каких поискать, — любому парню голову заморочит. А она, тихая, спокойная, молчаливая, — кому глянется?

Да в бараке много и других девчат было. В семьях эвакуированных, к примеру, Циля, еврейка, будто с картины писана: осанистая, высокая, чернявая. Заглядишься. Или вот Лина, дочка Марии Семёновны, завуча, или Саша, доярочка, ютившаяся в соседней комнате с матерью и младшим братом и вдовой с двумя детьми. Эти девушки были совсем не прочь погулять с Николаем, улыбались ему, задирали, хихикали. Надя замечала, как они бросались причёсываться, прихорашиваться, стоит только ему показаться на пороге. Сама же уходила к себе в комнату.

Но Николай, посмеявшись и побалагурив с соседками, стал искать встречи именно с ней. Подмигивал, несколько раз даже ждал у школы. Она не позволяла ему провожать её до барака — стеснялась. В комнату к себе тоже не приглашала, не хотела разговоров, да и зависть быстро догнала бы. Держала она его на расстоянии весь декабрь и январь, а в феврале, в начале, он как-то зашёл к ним с работы и позвал в баню, мол, мать приглашала, узнала, что старуха Макариха не пускает больше мыться.

Нюська с Клавой обрадовались, собираться стали, а Надя не решалась сначала, но все же пошла с ними. Понимала, что неспроста ухаждёр их позвал, что-то, видать, сказать хочет. Но вечно же нельзя его на задворках держать, решила, что пора поговорить, да и помыться очень хотелось, а баня у них на всю деревню самая завидная была.

Мать встретила девушек радушно. Накрыла стол. Мочёный тёрн зазывно выглядывал из алюминиевой миски бочками с белесоватым налётом, утопая в кисловато-терпкой пахучей бурой жижице, аккуратным ободком окаймлявшей ягоды по краям чашки; картошка томилась в чугушке, политая топлёным маслом и слегка присоленная; сало белело на обкромсанной дощечке, только что вынутое из рассола и прикрытое сверху тряпочкой; кожурки розовые лежали у самовара горкой рядом с увесистым ржаным караваем, от которого были уже отрезаны несколько ровных сытных ломтей.

Видя глаза девчонок, мать усадила их сначала за стол и накормила, только потом в баню отправила. А к чаю достала ещё кусочек коровьего масла из погреба и, намазав им хлеб, стала дожидаться девчат. А они, весёлые, румяные, чистые, забежав в дом, бросились целовать и благодарить её, обнимали старуху, чуть не плакали от радости. В такой бане уже давно не мылись и не помнили, когда?

Потом сели за стол, Николай тоже присел, но ничего не ел и чай не пил. Клавка с Нюсей быстро смекнули, что они тут лишние, быстренько поели-попили и засобирались домой. Надя молчала. Мать вышла проводить девчат, а Николай, сев рядом с ней, положил здоровой рукой большую рядом возле её руки на столе, спросил серьёзно:

— Пойдёшь за меня?

Надя бросила на него быстрый короткий взгляд и отрицательно покачала головой.

— Т-а-а-к, — тряхнул головой Николай, — значит, за инвалида не хочешь?

— Нет, что ты! — вскопчила девушка и тут же села. — При чём тут это! Ты мне по душе. Только я пока не знаю. У матери ребятишки, ей помогать надо, отца у нас нет. Я думала, работать стану, полегче будет. Но так получается, что она мне больше помогает. Куда же мне замуж, и себя прокормить ещё не могу.

— А я? Я работаю теперь, меня счетоводом оформили, я ж ещё до войны курсы кончал. Корочки имеются. И хозяйство у нас хорошее. Всё есть!

— Это всё родителей, — вздохнула Надя.

— И мне отец отделит, — не унимался Николай. — И корова, и свинья, и куры... Всё у нас будет.

— Ладно, пора мне, — засобиравлась девушка.

Николай преградил ей дорогу:

— Так как же?

— Скажу, Коль. Скоро скажу, — улыбнулась ему Надя, — только не теперь. Теперь мне думать надо. К маме на днях поеду, ей сказать надо. Обожди пока.

Дома, помывшись в бане и высушив волосы, она, как обычно, села у печки, чтобы мама расчесала и заплела косы. Но та, помедлив и ничего не говоря, ушла в спальню. Сестры вызвались помочь ей, весело разбирали волосы, передавая друг дружке гребень. Мать наблюдала со стороны. Только когда девочки стали туго заплетать густые пряди в косу, не выдержала и вышла, указав им на дверь.

Оставшись с Надей, мать долго не прикасалась к ее волосам, словно не решалась начать какой-то важный обряд, о котором знала только она. Когда старшенькая, поняв, в чём дело, сама попросила её об этом, мать, украдкой промакивая слёзы рукавами кофты, осторожно собрала волосы и заплела их в одну косу. Потом она показала, как надо укладывать её на затылке, отошла, посмотрела со стороны, постояла так недолго и бросилась снова к дочери, обнимая и плача. Надя гладила её руки, обнимала за шею. Когда та понемногу успокоилась, глотнула воды и обтёрла лицо, она уже сама расплела косу и, склонив назад голову, стала разбирать волосы надвое.

— Давай помогу, — поспешила мать. — Попробовали и будет. Походи в девках пока. Успеется.

Она решительно убрала руки дочери от волос и сама быстро сплела косы. Ловко её пальцы перебирали блестящие чистые пряди, а привычные движения придавали делу уверенные черты той законченности, от которой не возникает сомнений, что так будет всегда. Но мать знала, что обманывает сама себя. Понимая, что последний раз, наверно, она так плетёт дочерины косы, она изо всех сил пыталась унять гнетущую тревогу и разрывающее изнутри беспокойство.

Через неделю Надя дала Николаю положительный ответ, а через месяц, когда первые сосульки с крыш свесились, сразу после свадьбы переселилась из барака к ним.

## 5

Вечером, на исходе того дня, когда случилась ссора из-за сундука, в доме было спокойно. Сёстры, прихватив детей, вышли на улицу и, расположившись на брёвнах, лузгали семечки, усадив малышей на колени. Пашка крутился рядом, играл с котёнком, дразня его веточкой.

Отец с Николаем ужинали. Степан спал в горнице.

Фигура отца, склонившаяся над миской с кашей, показалась Николаю какой-то совсем уж сутулой, чуть ли не горбатой. Его всегда удивлял высокий рост отца. Про него даже говорили в деревне, что, мол, Макар — родственник Ивана Великого — известной в Москве колокольни, и шуткой удивлялись: и как его только в эти края степные занесло?

При том, что Макар был диковинно высок ростом, был он худощав и нескладен. Длинные руки и ноги его выглядели, как оглобли. Сухие, со вздувшимися венами руки вечно торчали из рукавов ватника, рубахи или пиджака чуть не от локтей, а мохлястые ноги мотылялись в голенищах сапог, что ухват в утробе печи. Но несмотря на такую свою сухотелую наружность, был он жилист и силен, много работал, вилы и лопату из рук не выпускал с утра до поздней ночи.

Отец ел гречневую кашу с молоком. Жадно откусывая от ржаной краюхи кусок за куском, он с силой двигал челюстями, торчащими из-под ушей и ходившими под его загорелой щетинистой кожей, как жернова молотилки.

Мать сидела напротив. Широкая в кости, полноватая, дородная, она рядом с ним казалась чем-то необъятным, мягким и приятным. Но всё на самом деле было не так, а как раз наоборот. Внешне казавшийся грубым и угловатым, отец был мягок характером и добр. Он никогда не повышал голоса, во всём советовался с женой, тихо говорил, и все догадывались о том, что он дома, только по храпу, который слышался из-за печки, когда он засыпал. Он был незаметен и тих, как домовый. Всё прощал детям, когда маленькими были, любил их безмерно и всегда перед матерью за них заступался, если шкодили.

Мать же была права сурового, бранилась на него по делу и без дела, громко кричала, если дети или внуки выводили её из себя. Дом держался на них обоих, но отец как-то присутствовал в нём незаметно, почти незримо, а мать была повсюду, голос её не переставал слышаться то с огорода, то из сараев, то с веранды. Всегда было ясно, где она находится и чем занята.

Имела мать одно дело, которым занималась всю жизнь, переняв его секреты у своей тётки. Она слыла в округе знахаркой, готовила лечебные снадобья, собирала и сушила травы, знала, как и чем лечить болезни. Во дворе было два погреба: один — для продуктов, другой — её — для мазей, настоек, отваров и прочих целебных средств, коих имелось у неё такое количество, что и сама порой забывала, в какой посудине что. Безграмотная, она не могла ничего записать и, держа в голове, наверно, не меньше сотни рецептов, часто бормотала их себе под нос во время домашней работы, чтобы не забыть. Дочерей в секреты своего дела она не посвящала. Они сами пытались помогать ей, даже завели тетрадку, в которую записывали, что и где хранится. К примеру, “в горшке с отколком — мазь от кожных сыпей — на полке второй сверху с правого края, как стоять спиной к входу; рядом в банке чёрного стекла — настойка от мокрого хрипу и кашлю, а с другого боку, в кастрюльке без ручки, — роженицам от кровей”. Когда мать забывала что-нибудь, то шла с тетрадью к дочерям и те, спускаясь в погреб с огарком свечи, начинали разбираться в склянках и горшочках, вычитывая записи и перебирая на полках посудыны.

Когда Николая комиссовали, она ему сразу жену присмотрела. Через два дома вдовица жила с ребёнком — Сотникова Полина, и всего-то на два года его старше, похоронку давно, в сорок первом получила, ещё до морозов. Бабёнка она была простая, справная, работающая, дитё у ней присмотренное, дом в порядке, в совхозе имела поощрения за работу: то ситца отрез, то отходы на корм скоту, а то и зерна, бывало, перепадало в урожайный год.

Но Николай заупрямился, не стал вдовицу брать, всё в барак похаживал. Мать выведывала у бабёшек тамошних, к кому ходит сынок, да вроде поначалу даже успокоилась, понадеялась, что он к Нюске или Клавке клинья подбивает. Эти были не хуже Сотниковой: деловые девки, крепкие с виду, ухватистые, надёжные, что работать, что детей родить, что за себя постоять. Но случилось по-другому.

Когда сын объявил ей своё решение Надю в жены взять, она опешила. Не понятно ей было, чем приглянулась ему эта сухопарая молчунья, про которую все говорили, что руки у ней, будто у барышни какой, белые, пальцы тонкие, длинные, сама павой ходит, голову держит высоко. Что с неё проку в доме? Учительница — одно слово, ей только в школе за столом сидеть да книжки читать.

К тому ж выяснилось, что у Нади одна мать ещё с тремя ребятишками бьётся, что мальчик младший — инвалид, а отца ещё перед войной расстреляли за то, что плохо про власть чего-то сказал.

Мать сына отговаривала, никак душа не лежала девушку в дом брать, но Николай и слышать не хотел. Сотникова ему не нужна была, потому что девок кругом, хоть лопатой загребай — черенок сломается, чего на вдовицу размениваться? Клава ему не нравилась, потому что была какой-то непонятной, городской, говорила много и чудно, будто книгу какую читала по памяти. Нюска хоть и веселила его разговорами, пела звонко и то и дело задевала по причине простого своего нрава, тоже была не по душе. Он уставал от её быстрых движений, от вскоков и вскриков внезапных, и от её внимания к себе.

Рядом с Надей ему становилось спокойно, хорошо. Она всё больше молчала, и он тоже, но они и так всё понимали и чувствовали, без слов, без лишних движений. Выше него ростом, она была недоступной и умной, но его это не тяготило, потому что Надя не старалась выделиться, обратиться на себя внимание, как-то показать себя. Она всегда сидела на своей кровати, что-то читала, штопала или просто молча наблюдала за подружками и за ним.

Он долго не мог понять, почему она так ведёт себя? Сначала подумал, что, может, он не нравится Наде из-за своего невысокого роста, покалеченности, не слишком привлекательного внешнего вида, но как-то со временем стал замечать, что она ласково смотрит на него, что в глазах её всегда светится радость, когда он приходит.

Девчата даже рассмеялись однажды, видя, как он, засмотревшись на неё, чуть не сел мимо табуретки, а она, вскочив с места, бросилась его подхватывать.

— Глянь-ка, Клав, — скосила глаза Нюска, — Николай-то чуть не расшибся.

— Да я, чего-то я... — смутился парень, оказавшись рядом с Надей, схваченный ею за здоровую руку для поддержки, — как-то не рассчитал я...

— Ой, да видим, не слепые, — продолжала Нюска. — Чего-то ты мимо, Коль. Иль куда загляделся, а?

Чтобы поближе сойтись с Надей, он попросил мать позвать девчат в баню. Она, было, воспротивилась, но дочери уговорили. Им с ребятишками приходилось частенько к Нюске в медпункт обращаться за помощью, решили, что неплохо было бы с ней поближе познакомиться, да и с учительницей тоже, ведь Пашке Глафириному вот-вот в школу.

Так и оказалась Надя в их доме первый раз. Не знала она тогда ещё, что вскоре переберётся из холодного барака в этот маленький, чистый и тёплый дом. Правда, не знала и про то, что приём её здесь ждёт вовсе не тёплый...

## 6

Отец вернулся ближе к ночи и привёз двух немцев. Гвидо и Алекс послушно слезли с телеги и бросились помогать распрягать лошадь.

Все семейство во главе с матерью высypало на улицу. Обтирая руки фартуком, она исподлобья рассматривала гостей. Её прищуренные глаза смотрели зорко и цепко, изучая невиданных доселе в этих местах иностранцев, к тому же заклятых врагов, ненавистных варваров, которых она долгие годы войны дённо и ночью без устали проклинала про себя и вслух, которых хотела растерзать всякий раз, когда прикладывала Николаю примочки и готовила мази, когда плакала по без вести пропавшему в сорок втором младшенькому своему, Гришке.

В её воображении эти нелюди раньше не рисовались никак, скорее, они представлялись ей каким-то необъятным неистребимым злом, ужасом, жутью, которая накрыла страну смертельной опасностью, обрушила на её жителей страх, горе и муки. Глаза матери выражали не просто застывший крик, в них металась и билась боль, накопленная за годы войны, и глухое,

отчаянное и несгибаемое желание дать выход этой измотавшей её боли и немому крику, которые было тяжело удерживать внутри.

Дочери и зять смотрели по-разному, кто — с ненавистью, кто — зло и брезгливо, но даже вроде с интересом. Пашка схватил камень и с криками кинулся на немцев:

— Фрицы проклятые! — завопил мальчишка и запустил в них камнем.

Степан схватил его за руку и дёрнул к себе. Немцы отскочили в сторону и пригнулись.

Отец строго посмотрел на внука и молча погрозил ему кнутом.

— Чего выставились?! — громко, как никогда, спросил он у домашних и уже тише, но сурово и твёрдо прибавил: — Поглядели? Чешите домой.

Он привязал коня и подал знак немцам помочь с телегой. Взяв в руки оглобли, отец стал направлять её в угол у поленицы под раскидистой старей татарский клён. Они с обеих сторон толкали, внимательно наблюдая за хозяином и выполняя его указания.

Поселил их отец на улице в балагане. Он обычно летом сам там спал на свежем воздухе, да и гонять, бывало, по ночам приходилось с огорода охотников поживиться чем-нибудь. Теперь сам перебрался ближе к дому, на сеновал.

Вещей у гостей с собой было немного: по паре сменного белья, портянки, шинелишки потрёпанные да пилотки. Форма, пропитанная потом, в подмышках и на спине была в белых разводах, местами виднелись следы штопки и даже заплаты. Одежда на них была немецкая, а сапоги, порядком уже заношенные, наши.

Мужики они и вправду были крепкие, несмотря на невысокий рост. Один рыжий, с кошной хоть и стриженных, но настолько густых волос, что они смешно торчали во все стороны и выбивались из-под пилотки. Ему было на вид лет тридцать пять—сорок. Второй, что ростом был чуть ниже, выглядел моложе, всё время приветливо улыбался и пытался по-русски здороваться и приветствовать всех. Оба были гладко выбриты, в руках держали шинели и небольшие узелки с имуществом.

Отец отвёл их в сени, где мать приготовила им еду. В миске лежали варёные картофелины, с краю — пёрышки зелёного лука, четверть краюхи хлеба и ромашкой — пяток яиц. Ели они, стараясь не спешить, озираясь по сторонам, но то, как торопливо они жевали, как роняли на стол яйца, пытаясь их поскорее очистить, выдавало не больно сытые месяцы, проведённые в плену.

Немцы не выглядели ни истощёнными, ни даже худыми, видимо, кормили их почти в достаток, только пища была непривычная, не особо вкусная и питательная. Они солили картошку и яйца, макали в соль перьями лука, откусывали хлеб полноротой хваткой, с удовольствием жевали нехитрое крестьянское угощение и благодарно смотрели на деда.

Постояв немного возле, отец вышел на веранду. Семья уже поужинала, его не дождалась сегодня, и мать хлопотала теперь для него одного. Она разогрела тушёную картошку с мясом, принесла бочковых огурцов и ровнёнько порезала маленький кусочек сала. Без него отец за стол не садился. Хоть с палец огрызок, а съест обязательно, иначе голодный, чем ни накорми.

— Может, хоть сала им дашь? — тихо спросил он.

— Хватит, — глядя в сторону, хмуро отозвалась она.

— Им работать.

— И пуцай. Чего ж ещё-то? Их, поди, там на стройке одними отрубями кормят.

— Не без того, — хрустнув огурцом, согласился отец. — Видал сегодня, как обедали. Баланда да каша пшённая сухая, хлеба — в полжмени, не больше.

— Чего, как сторговался с прорабом? Хватило харчей иль чего еще запросил?

— Ох, и жулик, он, шельма! Всё у меня выгреб и говорит, мол, муки давай мешок ещё, — усмехнулся отец.

— Чаво?! Мешок! Рехнулся, паразит, иль чего ли? — всплеснула руками мать.

— О-о-о-х, — вздохнул отец, — разбойник. Сколько ни дай — мало. Я ему ещё только яичек пообещал, а насчёт муки — нету, говорю. Кончилась. Уж новый урожай скоро. Где ж её взять, коли она родится в поле, а не у бабы в подоле.

— И чего ж? — выпрашивала до крайности возмущённая мать, не сводя глаз с мужа.

— Поругался, стервец, ещё, говорит, кур прихватишь, когда этих обратно привезёшь. А я смекнул сразу, башкой машу, согласие показываю, а сам примечаю, что этому скряге, хоть весь курятник свежи, а все скажет: ещё давай. Ладно, как Бог даст, мать. Куры вон хорошо несутся, садиться стали, глядишь, к осени разбогатеём.

— Ой, дурень ты старый, — засмеялась мать, — на курах да на цыплях уж разбогатеешь, поди, ага-а-а...

Встав утром с петухами, отец пошёл к балагану. Немцы ещё спали. Укрывшись шинелями, они спокойно сопели и даже похрапывали.

Отец направился на задний двор. Мать с Алевтинкой вышли ему навстречу из карды. В подойнике белело молоко, он был полон.

Макар выгнал скотину, напоил телят, дал сена коню. Визгливо заверещала свинья. Он вылил ей ведро вчерашних помоев, сдобренных запаренными с вечера в лохани остатками отобранной на корм прошлогодней мелкой картошки величиной чуть поболее овечьих котятков.

Когда он ходил по двору, носил воду, кормил скотину, звуки разносились в утреннем тихом воздухе, отстоявшемся за ночь на огороде, и доносились до балагана. Они разбудили немцев и те, шустро одевшись, как по команде, прибежали к нему. Один выхватил у него ведро, пытаясь говорить по-русски:

— Помош-ш-ш...

Другой стал показывать знаками, что он тоже хочет помогать. Отец улыбнулся, глядя на их усердие и, криво усмехнувшись, пробурчал себе под нос:

— Убивать, видать, тоже друг дружке помогали. Эх, никакого суда на вас нету, окаянных. Никакими словами не оправдаетесь, ни пред Богом, ни перед людьми. И никакими трудами не отработаете, хоть до смерти уломайтесь... Беда.

Они остановились, видимо, легко уловив настроение старика, поняв по тону его ворчания смысл сказанного. Опустив головы, встали подле него, но чуть на расстоянии, будто боялись, чтоб не огрел чем-нибудь в сердцах. Но отец махнул им и пошёл к дому. Они поспешили следом.

За домом уже было расчищено место под стройку. Николай здоровой рукой порубал кусты реписа, а Надя граблями собрала прошлогоднюю листву, палки и мусор, убрала всё. Отец показал участок и, достав из кармана грубую лохматую бечёвку, протянул её немцам. Они сразу поняли, что надо делать. Залопотали по-своему, показывая руками, как они будут копать, держа в них воображаемые лопаты.

— Щас, щас я, — заторопился отец и вскоре вернулся с двумя штыковыми лопатами и одной совковой, стал показывать им, где копать ямки.

Немцы, выхватив из его рук инструмент, сходу набросились на работу. Они врыли маленькие столбики по размерам будущей избы и стали привязывать верёвку, обозначая границы постройки.

Отец наблюдал за ними, подсказывал, поправлял кое в чём, но было понятно, что работники они толковые, и дело взялись делать со всей ответственностью. Немного погодя отец пошёл хлопотать по хозяйству. Но стоило ему только дойти до сеновала, чтобы перекидать сено ближе к выходу, как послышались крики.

Макар побежал что было мочи обратно, хлопая голенищами сапог и стуча ногами по утоптанной дорожке. Ему навстречу уже спешила мать, крича и задыхаясь, показывая руками туда, куда он только что отвёл работников. Из того, что она кричала, он разобрал только "Колька-а-а... Колька-а-а...".

Завернув за угол дома, но тут же чуть не споткнулся о лопату, валявшуюся прямо у него на пути. Немцы, прилигнув спинами к стене, кричали что-

то непонятное на своём языке, закрывались руками и втягивали головы в плечи.

Николай, держа в здоровой руке совковую лопату, весь багровый, с выпученными глазами, с матюгами и угрозами шёл на немцев. Жилы на его шее натянулись ремнями, скулы остро и туго обозначились под кожей, а сумасшедшие от гнева глаза горели ненавистью. Всё его тщедушное тело, напряжённое и согнутое болезненной беспомощной дугой, рвалось вперёд, за рукой и орудием мщения, которым стала лопата.

Отец знал, что сына в такой поре лучше не трогать. Он мог, не разбирая, и своих сгоряча огреть, пожалуй, подвернись ему кто случайно под руку. Поэтому он кинулся обратно к дому. Требовалось что-то вроде полушубка или одеяла, чтобы завернуть его сзади и зажать в руках. Он даже не заметил, что утром мать вывесила на забор проветриваться старое одеяло.

Ему навстречу бежала мать.

— Дай чего-нибудь обернуть... Ну, хоть чего там... Дай, завернуть надо... — крикнул отец, размахивая руками.

Мать бросилась к забору:

— Так вон же... — Она сгребла одеяло и кинула ему.

Когда Николая, обернутого с головой, повалили на землю, он уже весь трясся. Ноги, сведённые судорогой, беспомощно торчали из-под одеяла. Мать навалилась на него, прижимая руками голову, налитую кровью и хрипящую что-то перекошенным ртом, и заголосила.

Отец тут же прикрикнул на неё:

— Цыть! Не на похоронах. Воды принеси.

— Ой, мама, — лежа на земле, шипел Николай, — нету им прощения. Нету! Не люди, они, мама. Фашисты. Звери они. Жили б мы, как жили, и я б здоровый был, и Гришка был бы тут... На Тоньке своей женился бы. А то и не знаем, где он? А они вон живы-здоровы, как бычки молодые. Падлы!

Она кое-как поднялась и, на ходу вытирая слёзы, поспешила во двор. Отец налёг на сына, отбиваясь от его здоровой руки, то и дело грозящей угодить ему в лицо. Немцы всё это время молча смотрели на то, что происходило, и их глаза, расширившиеся от ужаса, застыли, а лица вытянулись и стали похожи на лошадиные морды. Они так и стояли, прижавшись к стене дома.

Когда мать вернулась с ведром воды и плеснула Николаю на голову, тот сразу весь обмяк. Отец отпустил его и подал знак немцам, чтобы ушли. Они торопливо скрылись, оглядываясь и подталкивая друг друга.

Развернув одеяло, мать с отцом стали усаживать трясущегося сына. Он шумно дышал, продолжая таращить глаза, утыкался куда-то в плечо отцу, дёргал беспомощно руками и стонал. Судороги в ногах ослабли, и они развалились широко в стороны.

— Всё, сынок, всё уж, — успокаивала мать. — Тихо, тихо... Ушли они. Нету их тут. Пошли потихоньку в кухню. Подымайси, я травку заварю осмирительную, выпьешь... Всё, Коля, уляжется. А щас на работу тебе пора. Ага. Поспешать надо.

## 7

Сёстры недоумевали, как это братец не может с немцами разговаривать, чтобы объяснить им, как и что ему надо в доме сделать, а всё через отца. Ведь это дом, в котором ему жить с семьёй всю жизнь потом.

Но не было у него сил с врагами разговаривать. Не мог. Вскоре все поняли, что так оно, пожалуй, лучше будет.

Утром, когда Николай шёл на работу, и днём, когда приходил на обед, и вечером он старался побыстрее пройти мимо стройки. Краем глаза, конечно, поглядывал в сторону будущего дома, но, услышав немецкую речь, сразу убегал на озеро.

Оно начиналось за огородом. По ступенькам, прорытым с высоты кручи до самой воды, он спускался на мостки и сидел на них, опустив в воду но-

ги, по многу раз умывался, иногда даже опускал голову в воду, кричал что-то, вспугивая стада уток и гусей, обосновавшихся здесь на всё лето, разгоняя их своими воплями.

Как-то он в сердцах запустил гнилой корягой, прибившейся к мосткам, в чьё-то стадо. Гуси громко и истошно загоготали, всполошились и бросились в разные стороны, это заметили с берега и доложили хозяйке. Та прибежала ругаться, ведь каждая птица была дороже золота. Баба орала на Николая, грозилась пожаловаться участковому.

Он расстроился, просил прощения, умолял не беспокоиться.

— Я же, как его... Ну, не специально... Ну, не хотел же я...

— А мне какое дело, — визжала возмущённая баба, — у меня четверо по лавкам. И каждый гусь — на неделю. Разрублю на четыре части и варю, хоть щи, хоть картошку с ним, хоть лапшу. Всё хорошо. А ты? Вот убил бы гусёнка, и остались бы дети на неделю без еды. Подумай ты своей контуженной башкой, а? Да я ж ребятишкам по кусочку делю, лишь бы хоть раз за день мясное поели пацаны мои. Им и этого-то хлёбова не хватает, а ты — корягой. Гуся — корягой! Да я как пойду сейчас, найду там эту корягу и тебя, поганца, ею отделаю и не погляжу, что ты фронтовик.

— Ну, уймись, угомонись, — просила мать соседку. — Да я бы тебе сво-во гуся отдала б, не остались бы твои ребята без обеда.

— Ага! — грозя ей пальцем, закричала баба. — Да кабы не увидел никто, так и ты бы в зубы не далась. Чо сказала бы, а? Докажи, сказала бы, а чем я докажу? Да я на него и не подумала бы сроду! Ведь фронтовик, инвалид, а?! Человек уважаемый, в конторе работает. А чего творит?!

— Да не убил же он гуся, — вмешался отец.

— Да, не убил. А завтра, гляди, убьёт. Нервы-то у него ни к чёрту! Он сначала на гусей кидается, а потом и на людей начнёт замахиваться! И вы его не защищайте. Я к нему как к фронтовику, конечно, уважение имею. Мой тоже два раза уж раненый, и сейчас не знай жив, не знай... Ой, и сказать боюсь, четвёртый месяц уж писем нету. Чего уж не понять, но и меня поймите. Он же вон, трясется весь, как шальной. И чем ему мои гуси помешали?

Николай, действительно, весь затрясся, мелкая дрожь колотила тщедушное тело, словно он находился на морозе в одном белье. Прижимая большую руку к туловищу, он схватил пятерню здоровой рукой и сжал изо всех сил, чтобы унять дрожь.

Кое-как спровадив недовольную бабу, родители повели сына домой. Мать усадила его за стол, поставила две стопки и налила самогону. Они с отцом выпили. Мать налила ещё и унесла бутылку в чулан. Вторую пить не спешили.

— Коль, — сжав переносицу узловатыми, грубыми пальцами, с трудом начал отец, — я никому не говорил. Опасно было, но тебе теперь расскажу.

Он встал, закрыл на засов входную дверь, потом — на крючок — дверь в сени и, посмотрев зачем-то в окно и прикрыв шторку, сел.

— Чего, батя? — глядя виновато из-под опущенных век, спросил сын.

— Я, Коль... — отец медлил.

Он смотрел куда-то перед собой, странными, вдруг помутневшими глазами, будто извиняющимися за что-то. Так прошло несколько времени, Николай даже забеспокоился, уставился на отца удивлённо и растерянно. Наконец, тот, выпив стопку и поставив звучно её на стол, решительно отодвинул от себя миску с картошкой и, не закусывая, сморщившись, выдохнул и начал:

— Я, ведь, Коль, ты знаешь, на войне был. На той ещё, первой германской.

— Так то все знают.

— Ты, погодь, слухай. Воевал честно, за спинами не прятался, в окопах сырых погнил — будь здоров! Ну, да ладно. Война, она, знаешь, никого не щадит, выжил, вернулся и, знай себе, радуйся, что уцелел. Вернулся, и слава Богу. Только всяко бывает... Главное, — не осуждать. Вот. Чтобы без понятия, без должного разумения. Осудить-то, оно, знаешь, легко, а вот понять... Тут, поди, суметь надо.



— Ты, бать, давай, говори, чего... — махнув рукой, попросил Николай. — Я ж не дурак, уж разберусь как-нибудь, в чём дело.

— Да тут, сынок, — отец подался всем телом вперёд и почти лёг боком на стол так, что оказался лицом к лицу с сыном. — Тайна у меня одна есть.

— Военная? — усмехнулся Николай и тоже придвинулся поближе.

— И так можно сказать. Назови хоть как, а я никому не говорил. В плену я был, Коля.

Отец смотрел ему в глаза, и Николай, ещё не поняв до конца то, что услышал, как ему показалось, чуть не ослеп от этого тяжёлого испепеляющего взгляда.

— Че-е-е-го? — протянул он, вилотную приблизившись к лицу отца.

Тот молча поднялся, задвинул ногой табуретку под стол и встал у стола, облокотившись на него руками и уставившись в задёрнутое занавеской окно.

— Я был в плену. У немцев. Так-то, Коль. Полтора года. Работал на них.

— Как же? Бать... — Николай даже открыл рот от удивления. — Раненый, что ли, попал?

— Нет. Уж так вышло. Только ты чего плохого не подумай. Не предатель я, сынок. Потом, значит, схитрил, сумел вернуться так, что вроде как в плену и не был. Повезло мне. Расскажу как-нибудь. Всё расскажу.

— А почему молчал, скрывал? Вроде ж ничего за это не было б тебе? — не понял Николай.

— Не-е-е, Коль, плен — всегда позор, вот я и скрываю всю жизнь. Убежать у меня не случилось, чтоб героем вернуться. Так-то. Вот и не хотел, чтобы на вас пальцами показывали, чтобы вы, мои дети, позор терпели, что я в плену отсиживался, не воевал. Ну, да ладно. Щас про другое. Я про немцев хотел сказать, Коль.

Сын соскочил с табуретки:

— Я ж, знаешь... Как я... Сволочей этих... Карателей...

— Погоди, погоди, блажен! — Отец тихо успокаивал его, обняв за плечи и усаживая снова к столу.

— Ты слухай, чего скажу. Они, конечно, гады! Давно они на нашу землю зарятся. Чего уж! Есть от чего позавистничать. Был я в ихней Германии. Они об таких просторах только сказки слыхали. Вишь, на моём только веку уж второй раз ползут на нас, ироды. Да ведь как?! Я у них на пристани работал. Корабли мы разгружали и загружали, баржи тоже бывало. Потаскал сколько — мама, не горюй! Работал до дрожи в руках и ногах. С трудом вернулся обратно и до гробовой доски скрывать буду, что в плену был. Не хочу, чтоб люди плохого чего подумали. Говорю: воевал, и всё. Но я и взаправду воевал. Техника ихняя против нашей, сынок, что фонарь супротив лучины, башковитые они. Тут бы и нам у них чего подглядеть да себе смастерить же. Ну, это так, к слову. Я вот к чему. В плену, значит, я полтора года пробыл, но содержали нас хорошо, кормили не шибко густо, но и не били, работать, да, работали, но и жили в тепле. В бараках чисто всё было, от вшей обработка опять же, и баня, и бельё меняли после. Всё как у людей. Вернулся я в порядке, не больным, не отощавшим и не покалеченным. Тебя вот ещё родили с мамкой и Гришку, и Алевтинку. Понимаю я, что ты уж на другую войну ходил, досталось тебе. Прощения им нету никакого, и никогда не будет, сынок, такое не отмолишь никакими молитвами и не смоешь кровью даже, за такое и опосля их дети и внуки ещё отвечать будут. Так-то. Но у тебя, Коля, жизнь впереди. Бог даст — поживёшь, порадуешься, вон, скоро дитё... Дитё — это хорошо, оно завсегда на радость родится. Подлечит тебя мать, может, в больницу направят, руку тебе подлатают, глядишь, поправится всё. Но, Коль, дом тебе щас пуще еды, пуще матери родной нужен. Будет дом — будет и покой, будет где детям расти, где самим обжиться да семьёй прирасти к месту, хозяйство наживать, корни пускать. А коли не будет дома, так по углам — какой вы эшелон? Так, прищипной вагон только. Телега без колёс... Вот ведь как... Поглядел я на них. Они ребята справные, отощали малость, правда, на казённых-то харчах, да это дело мы поправим. Работают, как для себя, Коль. Смотрю и благоденствую. Стараются, жить-то

охота всем. Понимают, заразы, что тут кормёжка и отношение другое. И, знаешь, мастеровитые... Я тут с ними говорил, ой, Коль, смех один, что с казахами, которые из степи заездные, что с этими. Ну, прям беда. Лопочут чего-то, руками показывают, ой, ничего не понял. Только разобрал “шлехт”, плохо, значит, тяжело вроде, им тут, в России, да ещё твердят, что, мол, “нах хаузе” — домой, стало быть охота. А-а-а... Нескоро им домой-то. Один мне всё рассказывал да пальцами показывал, что жёнка у него там есть и ребят двое, а сам он учитель, вроде или кто, я не разобрал. А второй — холостой пока, шофёр он, но баба у него там есть, фрау, значит, родила даже, дитё не видал ещё. Они ж, Коль, тоже, поди, не сами пошли-то на эту войну. Дома-то оно всегда лучше. Тут не стреляют. Жили бы себе и жили, этот детей бы растил да с бабой своей спал, а другой женился бы на своей, раз уж дитё народилось. Также, глядишь, пожили бы ладком. А коли и не ладком, а всё равно лучше... И самая сварливая баба роднее чужбины. Тяжко им тут. Ну, в том нашей вины нет, сами пришли, самим им отсюда и выбираться, стало быть. Ихнему Гитлеру, дьяволу, чёрту поганому, пуцай жалуются, что погнал их сюда, а нам спасибо пуцай скажут, что в живых остались, да, Бог даст, когда-нибудь к своим вернуться да ребятишек на руках подержат ещё. Коль, потерпи ты их, окаянных, — отец приложил кулак к груди и надавил на неё.

Николай, насупившись, молча слушал отца. В его взгляде было что-то похожее на застывшее проклятие, на немую щемящую муку, разрывающую изнутри. Ненависть, отражавшаяся в глазах, казалось, безнадежно состарила его молодое лицо, сделав похожим на измождённого, навечно уставшего человека, у которого война отняла силу, душевный покой и здоровье.

— Ты, Коля, не шуми лишнего, — вкрадчиво уговаривал отец, — на дом посматривай, тебе в нём жить, семью размещать. Потихоньку налаживаться с хозяйством, обживать, чем Бог пошлёт. Они воевали, Коля, супротив, да только жить у них супротив нас не получилось. Я так разумею, да разве ж я пошёл бы на войну, когда у меня жинка молоденькая была, дочка только народилась, мать с отцом на руках были больные? А сказали: “Иди!” — и деваться-то некуда. И в плену только и жил тем, что про дом вспоминал да про семейство. Тоска, знаешь, гложет так — хуже голодного живота. И страшно, и тяжело, и мутрно было в ихней Германии, а всё ж тоска хуже всего. Они ж, Коль, сами себе не рады. Детей не видали уж сколько годов, и баб своих, и родителей. У них тоже и матери, и отцы, поди, имеются. И об них беспокоятся.

— Они в меня, батя, стреляли, и такие, как они, гады, — прошипел Николай, подняв на отца глаза.

— Война, Коль, война... Чтоб её... Все друг в друга стреляют. На то она и война. Пуцай строят пока. Может, к зиме управимся, а?! Как думаешь?

— Как, как... — Николай отвёл глаза в сторону.

— Вишь, они за неделю сколько наворотили. Мы б с тобой так за месяц не сумели, пунки бы порвали, а не сладили бы так. Пуцай, Коль. От коров до коров стараются. Перекур только два раза делают: раз до обеда да после обеда разок. Всё чинно у них, аккуратно, с умом. Эх, чудно мне, Коль, гляжу я на них и не уразумею никак: такую они основательность во всём имеют, такое терпение! И ведь, заразы, мастеровито как работают! Видать, порядок у них такой заведён по жизни, чтоб, значит, всё крепко было, правильно, по разумью слажено, по опытности. Э-э-х, набедокурили, наломали дров, злодеи, душегубы... Неймётся людям. Своё есть — чужое глянется. Всё лучше у кого-то, знать, надо отнять. Ну, ладно, Коль, хребет-то мы им поломали уж, считай, обратно погнали восвосяи, ещё башку свернём набок, а лучше — отвернём к чёртовой бабушке совсем!.. Эх, пуцай знают наших! Не по нутру нам под ими ходить. Европа под ими разложилась, что девка бесстыжая, а мы никому не дадимся. Ты вот вернулся, живи теперь. За всех, Коль, за товарищей своих, которые полегли там, за Гришку нашего... Слухай, мать не верит, каждый раз на меня кричит... Говорит, без вести — это ещё надеяться надо, молится, просит. За Гришку-то... Может, и взаправду, а? Я тоже молось. Из плена с молитвой вырвался, может, и сынка отмолим?

— Не знаю я, бать, — покачал головой Николай, — насчёт молитв этих. Перед боем старики достанут у кого чего есть, ну, крестик там, иконку махонькую, книжечку в пол-ладони, читают, молятся, крестик целуют... Потом, глядишь, убило. Видать, не больно оно помогает.

— Так то судьба, Коль... Кому суждено утонуть, тот уж не помрёт от пули, а коли выжить на роду писано, того и пуля пощадит.

— Ой, бать, чего-то ты мудруешь, не понимаю я. Да и ни к чему мне. Я в комсомол перед боем вступал, потом в партию, когда медаль “За отвагу” получил. И не молился ни разу, хоть старики звали, обещали научить. Ничего, живой вроде.

— То-то, что вроде... Вроде. Рубаху, вон, и ту жена застёгивает. Ладно, поправишься Божьей милостью... Жизнь долгая. И строиться, Коль, будем, хоть ихними кровавыми руками, а всё одно будем. Уж раз они тебя били, били, да не добились, пушай теперь хоть дом построят. Эх, с паршивой овцы хоть шерсти клок, — отец криво улыбнулся. — Оно, сынок, как ни поверни, а так выходит, что, коли они убили бы тебя — и дом щас не надо было б строить, потому как ни тебя, ни Надошки твоей, ни мальчика — никого не было бы. А коли б ты их, дьяволов, пострелял, некому, значит, стало бы строить, ушли бы строители в сыру землю. Вот и получается, что пустая затея эта война, хоть так, хоть так глянть. Ну, а раз так, что и они уцелели, и до тебя смерть не добралась, то пушай корячатся. Наломали дров, поганцы, получили по шапке, теперь ещё и под зад получают. Вот им и награда. Ладно-ть, пора управляться по хозяйству, коровы скоро придут.

Отец заспешил во двор, оставив сына в раздумьях.

Было слышно, как они с матерью шушукуются во дворе. Николай, посидел так ещё немного, размышляя над словами отца, но вскоре, переодевшись в домашнее, тоже направился во двор, чтобы помочь ему.

## 8

Николай крепко задумался после разговора с отцом. Умом он вроде всё понимал, а нутро никак мириться не хотело, что-то горячо и нестерпимо пекло там, мучило, тяготило. Это было нечто отдельное от него, поселившееся внутри и не желавшее соглашаться со словами отца. И ясно было, что прав отец-то, прав, и немцы эти проклятые — тоже вроде люди. Тихие, спокойные, работают от темна до темна, ничего не просят. Отец им табаку дал, так они его каждый день благодарят, в глаза заглядывают со своими “данкешон”, даже “спасибо” выучили. Мать щей нальёт — они, что дети малые, радуются. Вчера яичницу с салом им на ужин подала на большой сковороде да картошек сварила в чугушке десяток, — думала, они ей руки все поотцелуют.

Надя тоже их жалеет, говорит, что простой человек сам себе никогда не хозяин. Их послали убивать, они не смели послушаться. Да только не знал Николай, как это всё сердцем понять?! Мучило его теперь пуще ран это непонятное чувство. Ненависть — не ненависть, боль — не боль, а словно нарыв какой. Пучится изнутри, мешает, терзает по ночам хуже ран, ничем не унять, не успокоить.

Не мог он их видеть рядом, сразу большим каким-то становился. Вставали перед глазами картины боя под Гатчиной, когда лежал раненый в окопе, а танки мимо громыхали железом, и шли то справа, то слева, грозясь раздавить его, как опарыша, и намотать его мясо на гусеницы.

Или всплывало в памяти первое ранение, в декабре сорок первого, когда он в разведроту попал. Тогда они ворвались в дом на окраине деревни, куда определили на постой двух немцев, чтобы взять “языка”. Один из них, усатый, ранил его, а товарищи тащили потом через линию фронта к своим, а он, зажав во рту рукавицу, чтобы не стонать от боли, прокусил её насквозь, а потом изжевал всю в мотла.

— Надо, батя, надо, прав ты, — думал он свою трудную думу. — Между собой сёстры дружно живут, да и хозяйство без них мать одна не вытянет, бабьей работы всегда много, ей уж тяжело. Построюсь, глядишь, сест-

рухи поуасмирятся, матери роздых дадут, а то что ни день — бои местного значения. То оборона, то наступление...

Надя-то тоже не железная, виду не кажет, а сама плачет тихонько. От этих наслушается да натерпится, а то и сама чего напереживает себе, думает потом чего-то и по ночам, бывает, не спит, а ей вредно.

Отец понимал, как тяжело сыну, чувствовал, как тот мучается. Сам терзался сомнениями, правильно ли сделал, может, как по-другому надо было?

Только как? Всё одно выходило: терпеть и строить, помолвившись, да за сыном следить, чтоб чего не учудил.

Стены, как и задумал отец, поднимали из самана. Делали его из глины, мелкой соломы, лошадиного навоза. Добавляли речного песку для прочности. Дома саманные получались удобные, зимой они хорошо сохраняли тепло, а летом в них было прохладно в любую жару. Хорош саман по-всякому, как ни крути, только канители с ним много. Делать его и большим семейством хлопотно, долго, потом сушить ещё дольше, да следить, чтобы дождь не подмочил, под навес прятать. Только деваться некуда — ничего другого нету.

Лето сорок четвёртого, как по заказу, тёплое выдалось, и жаркие дни бывали. После обеда песок у речки, бывало, так раскалялся, что на него с опаской ступали. Отец знал, что многие в совхозе, пользуясь теплом летним, кинулись теперь делать саман. И хоть строить по-крупному никто не собирался вроде, а припасти ценного стройматериала люди были не прочь. Такое добро всегда сгодится: на сарайчик ли, на баньку, да мало ли... А уж если основательно строиться затевались, то столько его делали, сколько во дворе помещалось, а то и прямо на улице складывали.

Несколько дней возил отец с работниками глину из-под кручи, где речка берег подмыла. На заднем дворе выгружали в углу. Потом песку ещё привезли несколько раз, а опосля на конюшне, по деревне да в своём хозяйстве навоза конского насобирали. Соломы вот только с прошлого года совсем мало осталось... Председатель разрешил на ферме немного взять, наскребли кое-как к концу недели.

С утра всем семейством вышли на задний двор. Работы в совхозе в эту пору невпроворот, отец с трудом выпросился у бригадира на день. Но лошадь председатель забрал на полевые работы.

— Котяхи тут, в корыте, а соломенной трухи с сеновала натаскаем, — спокойно говорил отец, обращаясь ко всем, и в особенности к дочерям.

Они наблюдали в сторонке, уж больно не хотелось им руки пачкать.

Мать в старом оборванном платье, залатанном в нескольких местах, стояла босая у круга из глины. Немцы разгребали лопатами глину к краям, делая валик. Когда круг подготовили, отец стал сыпать туда солому, а работники таскали в дырявом тазу конское "добро".

Алевтина, держа на руках ребёнка и прижимая к себе сбоку младшенькую сестрину, смотрела на всех, переводя взгляд то на одного, то на другого. Надя и Николай, одетые во всё старое и рваненькое, и Глафира, в мужниных заношенных до дыр штанах, в которые было заправлено выцветшее платье, подносили на дерюжке труху.

Когда в глиняный круг были набросаны песок, труха и навоз, и немцы, управляясь лопатами, начали было перемешивать всё, отец, скинув сапоги и закатав выше колен штанины, влез в круг босыми ногами и показал им рукой, что и они должны сделать так же. Немцы остановились.

Пахучий навоз конский хоть и был гладок до блеска и выглядел, словно отполированный, но топтать его босиком, а тем более пачкать в нем заношенные до дыр сапоги, им не хотелось.

— Чаво, робяты, засумлевались? — подмигнула им мать. — Аль, воняит? А, так-то. Не бойтесь. На озеро вечером сходитя, отмоетеса. Я травку дам пахучую, потрета ноги-то ей, и вся вонь стухнет. А от навозу пятки мягше станут.

Она тоже встала в круг и принялась топтать. Немцы не спешили следовать её примеру, тем более что не поняли ни слова из того, что она сказала, но, помедлив немного, переглянулись, вздохнули и понуро направились

к карде, где ночью стояла корова, чтобы, присев на брёвнышки, которыми было отгорожено место для сена, снять обувь и размотать портянки.

— Давай, давай! — по-доброму посмеивался отец, глядя на них из-под мохнатых бровей. — Не “кушали” такого?!

— А как же они бараки строят? — не поняла мать.

— Они бараки засыпные делают, — пояснил отец, вытерев со лба пот краем рубахи. — Землю, золу, песок сыплют, камни туда бросают, гравий... Ой, видал я, как они там “мастерят”. Из чего попало. Вот завод кирпичный построят когда, тогда и начнётся путное строительство.

Гвидо и Алекс, подойдя к кругу, снова остановились, толкая друг друга локтями и сморщившись от брезгливости.

— Ну?! — махнула им рукой мать, показывая, чтобы заходили в круг.

Они не спешили. Наконец, Алекс, шумно выдохнув и тряхнув обречённо головой, решительно шагнул к ним и сразу утонул в жиже до середины икр. За ним осторожно, на самый краешек круга, встал Гвидо, провалившись в пахучую массу по щиколотки. Отец подмигнул им и показал ногами, с силой утаптывая глину с навозом, мол, шибче, шибче! Они, опустив головы и зажав пальцами носы, стали нехотя топтать.

В это время с сеновала вернулись Глафира и Надя с Николаем, притащив ещё трухи. Глядя на немцев, Николай рассмеялся. Он подошёл к самому краю круга, протянул к ним здоровую руку и, ткнув указательным пальцем вниз, радостно, но с надрывом заговорил:

— А-а-а, гады! Получили? Макнулись в говно? Правильно, батя! Тут им самое место. Месите, месите, вы сами хуже него воняете. Ишь, скривились, суки, паскуды! А убивать не кривились?! Детей мучить, баб наших брюхатить не кривились?! Подлюки, мразь... Сравняем мы вас с землёй, вот так же в говно втопчем. Недолго вам осталось. Скоты!

— Коля, — бросилась к нему жена, схватила за руку, стала оттаскивать от круга.

Немцы опустили головы и старались отстраниться от Николая, удаляясь в центр круга. Но он не унимался. Больная рука затряслась, лицо, налившееся кровью, стало страшным и злым. Он тяжело дышал, закашлялся, наклонив голову вниз. Надя с Глафирой стали оттаскивать его, схватив за руки, но он дёрнулся изо всех сил, слабо оттолкнул их и снова кинулся к кругу.

— Вы же хуже зверей, — завошил он что было мочи. — Каратели! Вас же на столбах вешать надо! Вас душить надо, как крыс, как клопов! Пускай весь мир посмотрит, как мы вам хребет ломаем, как утопим в навозе поганом, в помоях, в дерьме! Ненавижу! Воротит от вас пуще, чем от навоза. Вы же смертью воняете, мертвечиной! Вы ж в крови по самые уши! По ночам спите, да? Спокойно, бестревожно? Покойники не снятся?! Нет?

— Коль, а Коль, — приблизился к нему отец. — Всё, хватит. И так в дерьме стоят, ну, чего ещё? Правильно, пуцай помесят его. Я всю жизнь с навозом, жив и здоров, ничего, и им разок не помешает. Вспомнят потом, коли до Германии своей доберутся.

Мать тоже, встав возле отца, стала уговаривать его успокоиться. Жена и старшая сестра, обступив с обеих сторон, пытались сдерживать разбушевавшегося Николая.

— У меня шесть ранений! — кричал он, не обращая внимания ни на мать с отцом, ни на женщин. — И щас озноб колотит по ночам, руку всю выворачивает, пальцев не чую. Спина перебитая, чудом до мозга не достало, а то лежал бы, как мешок, парализованный; осколки из груди вынимали, промеж рёбер были, и в лёгкое попало. И голова прострелена, ладно, хоть неглубоко пуля прошла, в кости застряла. И контузия по сию пору в башке колошматится, хоть бейся ей в стену, хоть оторви да выброси, лишь бы не болела. Только это не всё! Но самая большая рана, самое тяжёлое ранение — то, что вы, природы, звери, мне с душой сделали.

Он ударил себя в грудь кулаком здоровой левой руки и, вытаращив глаза, заорал ещё громче:

— Вот где вы меня покалечили. Через душу, через сердце пробили! Насквозь! Вот где она, седьмая моя рана! И живу теперь с ней, никудышный.

Был бы там сейчас, бил бы вас, извергов, душил, рвал бы на части, может, от этого затянулась бы рана. Местью моей прикрылась бы. Но нет! Всё. Кончилась моя война. Списали с фронта. Негоден, значит, я теперь. Живите, падаль. Повезло вам. А мне с этой раной жить придётся до гробовой доски.

Он вдруг внезапно замолчал, дёрнул головой, отшвырнул ногой ведро, стоявшее рядом, и быстрым шагом пошёл прочь со двора.

Гвидо и Алекс сначала растерянно посмотрели ему вслед, потом, переглянувшись, испуганно уставились на отца.

Он тоскливо посмотрел на них, махнул рукой и скомандовал:

— Месите, ребята, месите. Топчите говно. Такая теперь ваша доля.

## 9

Убрав со стола, мать наладилась затевать хлеб. Приспособилась тесто на ночь ставить, чтоб на следующий день до полудня испечь, до жары.

Она насыяла муки, высыпала ее в квашню и вылила туда опару. Засучив по локти рукава, она стала плавно, но с заметным усилием водить рукой по кругу, замешивая тесто. Двигалась всё время в одном направлении, чтобы не образовались комочки. Тесто постепенно приобретало свой привычный вид, превращаясь из лишкого серого месива в белую послушную массу. Оставив тесто подниматься, мать присела на лавку у печки и нечаянно задремала.

Сон у нее был беспокойный, недолгий, и на этот раз он сморил её, обрвав размышления о семейных бедах, которые не шли из головы. Она словно провалилась в тот короткий, но перекрывающий собой всё сон, после которого кажется, что он длился бесконечно долго и был невероятно крепок. И был тот сон неспроста, оказался странным и чудным, потому что пришёл к ней во сне без вести пропавший сын Гриша. Вроде как идёт он по улице, улыбается, здоровается со всеми, а они крестятся и плачут. И подходит он к дому, ставит на лавку возле палисадника чемодан и кричит через калитку, зовёт её. А она видит его с веранды, а сама с места сдвинуться не может. И заходит он во двор, останавливается посередине его и всех зовёт, а они не слышат его. Сёстры с Колькой ругаются, отец на заднем дворе возится, а она, как на грех, с места сдвинуться не может.

Проснувшись мать так же внезапно, как и заснула, будто толкнул кто. Села порывисто на лавке, стала платок зачем-то повязывать. Лоб взмок от пота, утёрлась платком, потом на шее под пучком волос обтёрла, бросила платок на пол. Отдышавшись, мать снова обессиленно легла на лавку, но ноги так и остались на полу. Она этого не заметила даже.

— Эх, Гришка б вернулся...

Вскоре она вышла во двор. Старшая дочь таскала воду с озера, поливала огород, задрав подол до середины мясистой ляжки. Мать хотела было пристыдить её, ведь за водой для стройки через огород ходили немцы с ведёрками, но не успела. Из-под кручи показалась фигура Алекса, который нёс воду. Он был мокрый до пояса, с взъерошенными волосами и в прилипшей к телу майке. Глафира не видела мать. Взяв ведра, она вальяжно пошла ему навстречу. Немец заторопился, расплёскивая воду, стараясь побыстрее пройти мимо неё.

— Чего, фриц, — задела его Глафира, — худо без баб, поди, а? — и ещё выше подоткнула подол.

Смутившись, он прибавил шагу и вскоре скрылся за смородиновыми кустами.

— Ах, ты, бесстыжая, — закричала мать, грозя дочери кулаком, — иди в избу! И выпусти платье! Бессовестная! Ещё раз увижу — коромыслом отхожу.

— Чего?! — уставилась на неё дочь. — Я чего сделала? Ты глянь, сколь я полила. Весь подол вон измочила. Чего это я бесстыжая?

— Ноги-то повыватила, как на ярмарке, — не унималась мать, — чего мужиков-то будоражить, коли у тебя мужик свой под боком?!

— А мне, мама, и не надо от них ничего. Я ж так, только подразнить, — захихикала Глафира.

— Чего их дразнить, окаянных? Они и так уж, глянь на них только, сами себе не рады. Их жизнь уж побила, поколошматила и без тебя. И нечего мне тут разводиться срам всякий и их, бедовых, мутить, — потребовала мать строго.

— Господи, мама, я уж баба замужня и детей имею, — ухмыльнулась дочь, — а всё от вас по башке получаю! Как девчонка, ей-богу. Я старшая и вы со мной должны, как с ровней, обращаться, а вы меня всё время принижаете. Ну, ладно, Алька зелёная ещё, но я-то?..

— А то! — не выдержала мать. — Старшая, не старшая — дело бестолковое, коли в голове, как в чулане, темень да свалка. Нашла чем гордиться! Алька только из-за тебя и ругается, а так бы молчала. У ней совесть, поди, ещё есть.

— Чего? Совесть?! — Глафира бросила вёдра. — Вот про нас с сестрой да про совесть, мама, говорить не надо. Лучше бы Надьку вон воспитывали! Обленилась совсем! Когда она огород поливала, а? Или воды принесла?

— Эх, ты, — забирая у неё вёдра и направляясь с ними к спуску под кручу, обиженно отозвалась мать. — Или ты тяжёлая вёдра носила? Или на огороде с пюзом когда надрывалась?

— Ещё чего?! У меня мужик есть! — гордо заявила Глафира. — Он меня, беременную, берёт, поди. А раз Колька ей не подмога, так в том моей вины нет.

— А чья ж вина? — покачала головой мать.

— Я вот как вам скажу, мама, — вытаращив на неё глаза, отбивала атаку дочь. — Коли сам чуть живой, так и нечего было семью заводить. Себя бы прокормил сначала, да и жил бы как-нибудь, вон, может, к бабе какой прижился, любая бы рада была. Сколько их, с домами, с дворами, с хозяйством, и без детей даже вдовицы есть, и девок пруд пруди — умашься! Любую бери, живи, радуйся... И бабы-то и девки какие! Крепче мужиков теперешних. Да, такая и его, инвалида, и детей, и весь дом бы пёрла ради семьи. Любую тяжесть выдюжила бы. Не привыкать! А он? Дурак! Взял эту дохлятину мосластую, без приданого, без денег, без коровы. Ничегошеньки в дом не принесла, и сама уж с пюзом. Берегите их обоих, ага, хоть надорвитесь тут. Я, мама, тоже не двужилная! С пятнадцати годов на ферме. Мало?! И всю войну в телятнике спины не разгибаю, и Степка, поди, в поле днями и ночами, не спамши, не жрамши. И пьёт он, горемычный, потому что хуже загнанной лошадуки, месяцами без продыху.

Только когда мать скрылась под кручей, Глафира наконец замолчала. Алекс с вёдрами в руках снова показался меж ягодных кустов. Она схватила мотыгу, подвернувшуюся под руку, и запустила в него. Но та, не долетев до кустов, упала посреди свекольной грядки и повредила острым краем молодую ботву. Немец поставил ведро, взял мотыгу и поставил на место у сарая рядом с лопатами.

Он ещё не дошёл и до середины огорода, когда сзади услышал грохот. Глафира, проходя мимо, специально задев ногой, свалила лопаты и мотыги. Алекс вернулся и снова аккуратно поставил их на прежнее место. Глафира мельком глянула на него, и, громко засмеявшись, ушла.

## 10

В самую макушку лета, вернувшись к вечеру с картошки и войдя в дом, отец остановился в дверях, как вкопанный. За столом сидели немцы с побитыми рожами: у одного краснело вокруг левого глаза, у другого была сильно расцарапана щека. Николай сидел у стола в углу с перевязанной головой. На столе стояла бутылка самогона, стопки и закуска: варёные яйца, сметана в миске, хлеб, лук, огурцы и сало.

— А, батя, — попытался встать со стула Николай, но неукложе сел на него, потеряв равновесие.

Немцы опустили глаза в пол, оба сразу отодвинулись от стола и замерли. В комнате слышался тихий женский говор и шипение старшей дочери. Она была чем-то очень недовольна.

— Чего тут у вас? — облакачиваясь на край стола, спросил отец, внимательно посмотрев на сына.

— А чего? Да, так, бать, немного поругался я опять с этими, мать их, но ты не гляди... Всё. Теперь — мир!

— Мир, значит, — тихо повторил отец и, выдвинув из-под стола табуретку, присел.

— Ты, это, вышей с нами, — предложил Николай и потянулся к бутылке.

— Щас! — отодвигая от себя стопку, сказал отец, внимательно глядя на него из-под больших седых бровей.

Немцы соскочили со своих мест и, благодаря на ходу, стали пятиться к двери, натываясь друг на друга. Штангина у одного была разорвана, у другого на шее болтался оторванный ворот нательной рубахи.

— Идите, мужики, — махнул им отец.

— Спасибо! Спасибо! — лепетали они, отходя к двери.

Потом стало слышно, как побежали через сени и веранду на улицу.

— Ты чего на них набросился?! — хмуро спросил отец. — Ты чего против них можешь, а? Дурень ты, Колька. Тебя ж соплей пришибить можно, что муравья. А ты на них, здоровых мужиков, замахиваешься. Война, Коль, там, далеко, на западе идёт. А твоя уж всё, закончилась! Баста!

Отец взял со стола бутылку и пошёл в сени. Было слышно, как он шуршит в кладовке, убирая с глаз долой ценный продукт. Мать вышла из горницы и, посмотрев на сына с укоризной, стала хлопотать у печки. Выбежали и дети, расселись у стола. Глафира, засучивая рукава платья, встала напротив брата и, косо поглядывая в сторону сестры, объявила:

— Значит, Коля, так. Бешеным ты стал до своей самой последней степени. И потому проживать здесь больше не будешь. Такой наш сказ. Детей перепугал, вон, плачут, успокоить не можем с Алькой вдвоём. А как заиками сделаются от твоих криков? Чего тогда? А этих... — она мотнула головой в сторону табуреток, на которых сидели немцы, а теперь разместились дети, — коли тронешь, с нами иметь будешь дело.

— Чего? — соскочил было с места Николай, но закачался и снова плюхнулся на табуретку. — Шалавы! Чо, боитесь, что я вас позову строить?! Брёвна таскать, крышу крыть... Щас! Не дождётесь! Сдохну, а не позову. Уйдём с Надей от вас, и больше вы нас не увидите.

— Ага! Не увидим! — засмеялась Глафира. — Это ж как вы со двора выходить собираетесь, через трубу на метле иль как?

— Глашка! Колька! — одёрнула их мать, с силой двинув лавку ногой. — Сейчас как возьму ухват! Господи, как же мне помирать, коли время придёт?!

Николай выругался и, сверкнув глазами в сторону сестры, медленно встал. Осторожно, по стенке, он пошёл в горницу, остановился было, придерживаясь за косяк, ссутулился весь и, покачиваясь, направился к себе.

— Мама, да что ж я, злыдня какая?! — поспешила оправдаться Глафира. — Или ведьма?! Или кто?! И чего я, ему, Кольке-то, враг, что ли?! Только вот как нам всем тут находиться?! Своим двором пускай живут. И всё у нас наладится. Чай, родня...

— Да уж, — недовольно покачала головой мать, — родня. От такой родни беги, беги, да не спотыкайся — затопчут. Эх, дочка, и как не совестно тебе?! Ты-то уж сколько за мужиком, а всё с нами живёте.

— Чего-чего? У моего мужика, сироты безродной, помочь некому, что-бы строиться. Не виноват он, коли один, что месяц на небе. Алевтинкин хоть бы вернулся, его ещё дожждаться надо. А и с него толку немного будет, коли такой, как Колька, вернётся. Они вон все с фронта чуть живые идут, израненные. Чего понапрасну который раз тыкать мне, мама?! Война, а я при мужике, при детях, чего вам ещё надо?!

— Да твой Степка, коли б не война, уж давно спился бы, — поспешила объясниться мать, — до войны-то как закладывал? Забыла?! Не просыхал! Ему ещё сvezло, что бронь дали как одному трактористу на два села. Егора Плотникова хотели оставить, он передовой был, не пьющий, а потре-



бывал на фронт его отпустить, выпросился правдами и неправдами, и всё. А то бы не видать твоему Степке брони, как чёрту алтаря!

— Вот вы чего городите, мама?! — завопила Глафира. — Ну, выпьет мужик в праздник да в выходной когда, и чего? Они, выходные-то эти, когда были?! Напашется на своём тракторе, намёрзнется в степи, что ж ему и не согреться?!

— “Греется” не каждый божий день твой Степка, конечно, но куда почаще праздников, — возразила мать.

— Опосля работы, — продолжала наступать и оправдываться Глафира.

— Да хоть опосля, хоть не опосля, а всяко было бы лучше, коли бы он хоть через раз бы мимо пропускал, а не тянулся к ей, проклятуш-щ-ей. Стыдно ведь, от людей стыдно. Они ждут своих, похоронки получают, а он тут, дома, и пьёт, собака, — со слезами в голосе упрямо возражала мать, вытирая глаза кончиком платка, повязанного на голове.

— И нечего мне стыдиться, — становилась на дыбы дочь. — Он надрывается с утра до ночи, с трактора не слезает. У него и руки ломит, и спину... А вы, мама, попрекаете. Эх, мама, мама, да мне все бабы в деревне завидуют! Им б вон хушь какого... Хромого, старого, больного — лишь бы мужик рядом был!

Мать, устав от бессмысленного разговора, уткнулась в печь, делая вид, что занята и ничего не слышит. Глафира, поправив косынку на голове, удалилась в огород — поливать капусту.

Отец сел за стол, положив перед собой руки, сжатые в кулаки. Вены, навеки вспухшие синими тяжами под сухой тёмной кожей, выдавали застывшую усталость его натруженных рук и, казалось, местами даже лежали по верх кожи — так они были велики.

— Чего учудил-то? — тихо спросил он у матери.

— О-о-х-х, — тяжело вздохнув, отозвалась она, доставая из печи чугунок со щами.

Налив в миску дымящееся, с капустной кислинкой, пахнущее сытой сладостью варево и поставив на стол, мать отрезала ломоть хлеба и дала отцу в руку. Он стал есть. Сама села напротив.

— Беда, отец, чуть не случилась, — глядя на него исподлобья, засовывая выбившиеся волосы под платок, начала она. — Как ты уехал, девчата следом на работу подались. Ребятёшки спали ещё. Я блинцов им спекла, в погреб полезла за сметаной. Слышу — крики. Вылезла кой-как, гляжу, а это Колька вилы схватил — и на немцев. Сам кумачовый, глаза бешеные, трясётся. Ну, я подбежала, вилы отняла, выпроводила его на работу. Он рыжему рубаху все ж таки порвал, успел, я заштопала потом, но мог натворить делов. Господи милосердный, съездил бы к батюшке, что ли, в Краснохолм, почитал бы над ним да исповедал, можа, утихомирится бы, а?

Она рассеянно и грустно потупилась, сметая в ладонь крошки со стола, потом высыпала их в рот и пошла к печке. Взяв тряпками сковороду с картошкой, она вернулась к столу. Отец, выхлебав щи, обтёр ложку хлебным мякишем и, бросив его в рот, следом отправил кусочек солёного сала, потом принялся за картошку.

Мать снова села, но теперь рядом и, понизив голос, продолжала рассказывать:

— К обеду я его укараулила. Встретила, проводила, ребятам велела переждать в балагане, туда им хлебово отнесла. А вечером Пеструха, паразитка, загуляла. Стадо пришло, а она с бычком за огороды унеслась, зараза. Я нальгач взяла да ребят кликнула, пошли туда. Они обращения с коровой не знают, кричат по-своему, басурманы, шарахаются от неё. Да ещё бык рожищи свои на них наставил, глазищи выпучил. И сама ничего поделатъ не могу, и они не умеют. И страшусь за них, чтобы не покалечил их бычок или корова рогом, ответ за них потом держать перед прорабом. Заналыгали кой-как Пеструху-то, отогнали бычка, повели её домой. Рыжий — впереди с коровой, второй рядом — с вилами, я следом. Дошли, слава Богу, а тут Колька, как на грех, навстречу. Да выпивши.

— Он же в рот не берёт! — удивился отец.

— Ой, беда... Достал бутыль из чулана, отпил маленько, а много ли ему, бедовому, надо?! В башке тут же и помутилось.

— И чего он? — внимательно уставился на неё отец.

— Чего, чего... Стал на этих бросаться, кричал, матюгался, потом вилы схватил, да не у них, а которые у сарая стояли, и давай за ними гоняться вокруг саманов, я и не попевала. Глашка выскочили с Надькой, но подойти тоже боятся, кричат в сторонке, а ему вроде как и не слышать. И откуда и силушка только у него взялась?

— Так выпивши завсегда море по колено, — вздохнул отец.

— Вот-вот, — согласно закивала мать. — Гонял он их, гонял, потом, видать, выдохся, бросил вилы да как давай рыдать. Прям в голос, хуже, чем вдова пузатая на похоронах. Упал наземь и дикими криками рыдает, а сам про между тем орёт: “Ненавижу!” Ой, отец, ох, и спугалась я. Думала, что умом тронулся. Немцы тоже спугались, вылупились на него, смотрю, того гляди, слезу пустят. Глашка крестится, Надька плачет. Ребятёшек поперепугал, Алевтинка их в дом увела. Колька по земле катается, что зверь раненый, орёт, как ошалелый, а я и делать чего не знаю. У меня грудь сдавило всю, продохнуть не могу, с места не сдвинусь. Век прожила, отец, а такого не видывала. Ой, святые угодники, и не видать бы никому никогда такого! И врагу не пожелаешь! Опамитовалась я, душа во мне ожила, кликнула я Глафиру с Надькой, стали мы его умирать, с земли поднимать, а тут рыжий, Гвида этот, как стукнет ногой по корыту и тоже как заголосит чего-то по-ихнему, руками машет, кричит, вроде, ругается на кого-то. Сам весь бешеный сделался, волосы рвёт на себе, рубаху рвёт... Ой, отец, светопрествление! Второй-то, молоденький, кинулся к нему, говорит, говорит ему чего-й-то, потом ухватил за рубаху, а он дёрнулся и ворот вырвал чуть не с концами... А сам всё кричит по-своему, грозится куда-й-то, пинается по сторонам, куды достанет, ногами, бьёт, чего подвернётся под сапожищи... Ладно, этот, второй, размахнулся и по морде ему, рыжему, ка-а-к даст. Он сразу замолчал, вроде как охолонулся. Глашка, было, кричать на них затеялась, потом замолкла. А Колька, как всё это увидал, так встал, как вкопанный. Глядит на немцев, не шелохнётся. Снова затрясся весь, бросился к ним, стоят все вместе обнявши три мужика и рыдают. Ой, кто б сказал — не поверила. Потом Колька их в избу повёл, велел на стол накрывать, наливать. Мы кой-чего собрали по-скорому, они боятся, присели с краешку, глядят на него с опаской. Глафира в горницу ушла, к детям. А Надька тут, рядом трётся, но не подходит. Встала в углу, глядит. А Колька налил этим, да и говорит: “За победу!” — и выпил.

— А они? — широко открыв глаза, тихо спросил отец.

— Выпили, — махнула рукой мать. — Не, не подавились. Видать, и им осточертела эта война. Чужбина — она и есть чужбина. Всем дома лучше. Этот Гитлер ихний, тварь, башкой своей дырявой не думал, куды лезет, и не чаял, поди, что фашисты у нас будут говно конское месить да нам же дома строить вместо того, чтоб нами тута командовать, да чтоб мы на них работали.

— Эх, мать, — усмехнулся отец, — его и самого наши в дерьме утопят, как дотудова дойдут, да его, вражину, в плен возьмут. Чтоб нахлебался досьта, выродок!

— Уж хоть бы дошли, родимые, Бог им в помощь, — взмолилась мать, — да поскорее бы! Можя, и Гриша нашёлся бы да вернулся. А?

Отец молча махнул головой в знак согласия. Он тоже не хотел верить в то, что второй сын погиб. Надеялся, прислушивался по ночам, не скрипнула ли калитка, не стучит ли кто в окно. Молился перед образом. Каждый раз, засыпая с вечера, про Гришку вспоминал, утром просыпался с надеждой: вдруг от него весточка какая будет?

— Ждать надо, мать, надо, и надеяться надо, и строить, и детей родить, и врагов бить, и хлеб растить, — встав из-за стола, решительно сказал отец. — На то она и жизнь.